



**Татьяна
ШОРОХОВА**

НА НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ

*Из воспоминаний о Великой Отечественной войне
моей мамы Матрёны Николаевны Шороховой (в девичестве Беловой),
говорившей на русском языке с влиянием украинского,
что традиционно для Харьковщины-Слобожанщины*

ЗНАМЕНИЕ

Перед войной люди говорили, что «в степу гроб показался», потом на второй день ещё один гроб показался, а на третий день снова гроб увидели. Народ сильно забеспокоился. Все говорили, что это к большой беде, к войне. То мы вечерами песни пели, веселились. А тут и петь перестали. Тревожно как-то стало. И нам, детям, это от взрослых передавалось.

Петь в коммуне очень любили. Народ там разный пособирался — и кацапы, и хохлы... Так всякие песни и пели, аж в Люботине было слышно! Така луна шла, эхо такое.

Когда с инфарктом в больнице лежала, дай, думаю, узнаю, сколько же песен за жизнь выучила? Стала первые строчки записывать, так больше двухсот песен вспомнила, всяких — и русских, и украинских, и старинных, и революционных...

Да, народ в коммуне был разный, но дружный, и петь любил. Так до войны было. А теперь вот живём, в подъезде никого не знаем, только соседей рядом и напротив. Здесь я и песни забывать стала. Пока в частном доме жила, шоб ни делала, а всё с песней. Сердце болит, душа плачет, а я всё песни пою. А на этажи переехала, стала стесняться петь, так вже много песен и позабывала.

РАМА

Врач-ветеринар был у коммуны. Он с семьёй жил в отдельном домике. И вот фельдшер этот к низу за водой пошёл. А тут немец на него насел. Самолёт этот «рама» назывался. Какой-то этот самолёт не такой, как другие. Рамой называли его. Немцы из самолёта по дядьке стреляют, потом разворачиваются и снова стреляют. Гнали его. Если б он упал, то може б живой остался. А так он спешил. Спешил туда, до деревьев. Видно спрятаться хотел. Немцы ранили его несколько раз. Домой-то он ещё дошёл, а дома умер.

Вот так! Война! Не видеть бы её.

ВОЙНА

Отца на войну не взяли. Так куда ж? Дети-то малые! Жена умерла... Людей с заводов на войну позабирали, а хлеб-то должен кто-то печь, люди должны шо-то кушать? Вот отца по повестке на хлебопекарню и назначили. И до последнего дня хлеб пекли. В Харькове отец пёк. Где-то двадцать километров от нас Харьков. Да! Хлеб до последнего пекли. Когда войска ушли из города, последний раз хлеб людям выпекали, отец пешком домой пришёл, буханку с собой принёс или две. А там уже и немцы вскоре пришли. Но не сразу.

А в эвакуацию мы тоже уходили. Скот государственный раньше угнали. Брат Данюша — ему тогда уже двадцать было — коммунарское стадо погнал. А мы с Тимошей братиком — он на два года меня старше — на телеге кибиточку сделали, чтобы детей посадить от дождя. Телега нам и упряжь уже плохие достались. Отец-то всё время на хлебопекарне трудился. Люди хорошее себе, конечно, выбирали. Когда отец пришёл, взяли мы, шо осталось.

У телеги колёса уже никуда не годились, но мы всё-таки загрузились, детей посадили и отправились. Народу шло мн-о-го! Сначала на Песочное ехали, а потом через лес по просёлочной дороге, а там сплошной песок. Кони-то по песку ехать не стали. Телега с харчами, детьми... Да и упряжь порвалась. Ехать дальше не пришлось.

Отец сказал: «Ну что же! Будь, что будет, как Бог даст». Вот в коммуны и вернулись. Всего пять семей нас там осталось. До революции была здесь помещичья усадьба. Дом барский, постройки. Два подвала. В один по ступенькам надо сходить, а другой с таким широким спуском, чтобы лошади с телегой с этой стороны могли заехать, а с той выехать. И ещё яма была с приставной лестницей — две жердины с перекладинами поперечными. Коммунарские бараки уже при советской власти построили: общий коридор в доме, и из коридора

вход в комнатушки. У нас комната была на цементе. Другой для нас не нашлось, хоть и детей было у отца много. Так и жили в ней до войны. А во время войны комнат пустовало, хоть отбавляй! Так шо в другую перешли.

А Данюша со стадом коров так и ушёл. Он потом рассказывал, шо скот у них военные на свои нужды забрали, а его взяли на войну. А когда ранили, в госпитале ему раненую руку отрезать хотели, но он не дал. «Как, — говорит, — я без руки жить буду? Ни косу придерживать, ни на двор сходить...» Так и оставили. Данюша после ранения в Казахстане был. В совхозе там работал учётчиком. У него же, считай, одна рука только была. На другой — какого пальца нет, а какой загнут совсем.

Данюша, бывало, идёт там дорогой полевой и песню спивает: «Повий, витрэ, на Украину, дэ покынув я дивчыну...» А казахи говорят между собой: «У казака душа болит!» Жалели его. Вот. Домой он уже после войны попал. Так в Люботине и прожил до восьмидесяти годков. Царство ему Небесное. Как хочется на могилку к братику съездить. Много он мне хорошего в жизни сделал. Да теперь, видно, уже и не попаду. Ну, как Бог даст.

МАТЬ-СЕСТРА

Мачеха ещё перед войной умерла. Ване было два годика, а Рае годик. Мне в ту пору только двенадцать стукнуло. А Ваня, так он до двух с половиной лет ногами не ходил. Переболел воспалением лёгких. Все думали, что он умрёт, а он выжил, слава Богу, только ходить перестал.

А я не знаю, то ли подсказал хто, то ли сама придумала? Только я летом его горячим песком засыпать стала. Возле дома была большая куча песка. Нам хто-то колясочку дал детскую — деревянную такую. Ваня за колясочку держится и стоит, а я его засыпаю, засыпаю — до плеч досыплю, а он колясочку отпустит, руки вверх поднимет и радый кричит:

— А я стою! А я стою!

Я и не помню, сколько дней я так делала. Знаю, что только он радый был, какой же радый, когда стоял! А я потом потихонечку стала песок убирать. Сначала засыплю, братик устоится, а потом песок убираю, убираю... И пришёл день, когда взяла Ваню за руку и в дом увела. Так и ходить начал. Слава Богу, горячим песком вылечился. А вже потом и в школу ходил, и лесничим — о-он сколько по делянкам ходить приходилось! Восемнадцать километров на работу, восемнадцать обратно — и всё пешком. Никто за ним поспеть не мог. Так-то ноги укрепились. Да ты и сама знаешь. Иван в письмах и теперь мне

пишет: «Здравствуй, мать-сестра!» А как увидимся, бывало, обнимет меня и плачет. И всем говорит: «Это моя мать-сестра!»

Мне иногда кажется, что Иван с Раей мои дети, вы уже мои внуки, а ваши дети — уже мои правнуки...

Письмо надо Ивану написать, как он там? На пенсии уже. Увидится теперь, видно, не придётся. Харьков в другом государстве теперь, бедно там простым людям, честным. Видишь, как наворотили?! Была одна страна, всё было путём, по-нашему... И кому помешало?

ДЕСАНТ

Когда мы с дороги вернулись, стали в коммуне снова жить: батюшко, бабушка Евдокия — мать отца, Тимоша, Иван, Рая и я. Корова у нас была своя. Коммунарских угнали, а свои пооставались.

...Как же я за коровой бежала! Гналась я за коровой и гналась, а корова всё мчится и мчится, как сумасшедшая. А я и понять не могу, что это с нею? По смородине она уже прёт, а я бегу и почему-то всё время падаю, словно меня какая-то сила толкает. И ветер рядом так закручивается, как на смерч, и ветки со смородины, как подрезанные, летят. И снова возле меня ветер закручивается, и снова падаю. Я же не знала, что немцы уже десант из самолётов выбросили, и то они по мне из миномёта стреляли. Но Бог миловал.

Потом корова вдруг остановилась, как укопанная. Тогда я её уже взяла за налыгач, довела до коровника, привязала и пошла к бараку, где мы живём.

И вдруг передо мной солдатик наш пробежал — быстро так! — и в силосную яму прыгнул. Прыгнул — и нету его. А смотрю, ещё один стоит возле нашей хаты. Иду, а сама думаю: «Форму какую-то надели. Не видела такой раньше». А то, оказывается, немец стоял! Перед этим дождь большой прошёл, — лужи кругом. Я иду до хаты от коморы, а рядом со мной в луже что-то прыскает и прыскает, а я думаю: «Шо это в лужах прыскает?» И иду прямо к тому человеку в незнакомой форме. А он на меня как-то так смотрит. И палка у него в руках небольшая, и посередине такое что-то гладкое к ней приставлено. Я не знала, что это немец, а в руках у него автомат, только думаю: «Форма на нём странная, особенно сапоги».

На наших-то сапоги ладно сидят, красиво, а на этом какие-то широкие были. Я ещё подумала, шо их ушить бы надо. Мимо того человека я прошла. И в дом наш захожу, а бабушка говорит, взволнованная такая: «Где тебя носит? Немцы в Люботине десант выбросили!»

А немцы — те, что в коммуне оказались — к пасеке полезли. Мы-то пасеку не трогали, а они сразу к ульям. В окно хорошо было

видно, как мёд в улике возьмут, а потом от пчёл убегают, руками так смешно машут. Потеха!

Бабушка сразу смекнула, шо щас грабить нас начнут. Вот она и схватила ночвы, корыто такое деревянное, сложила на дно отрезы из сундука, ещё кое-чего из вещей, клеёнкой всё покрыла, а потом старьё разное намочила, выкрутила да сверху клеёнки и положила. Так она придумала.

Немец к нам зашёл, и сразу — к сундуку. А в сундуке были галоши бабушкины и свитер тёплый, которые мой братик самый старший Коля перед самой войной на подарок бабушке прислал. Так немец эти подарки забрал и ещё другой хабур-чабур, шо нашёл, прихватил, а в ночвы, слава Богу, не глянул.

Не, ещё не так было. Когда немец в сундуке колупался, то Ваня, тогда он ещё сам не ходил, по стеночке, по стеночке и подошёл к нему. А у фашиста на боку нож на поясе висел. Ивану понравился видно этот ножик, и он ручкой цапнул его. Немец-то этот молодой, как дёрнется! Выхватил нож из ножен и замахнулся на Ивана, как на взрослого человека, и лишь только после этого Ваню возле коленки увидел.

Тут бабушка схватила Ванечку на руки, прижала к себе и немцу в глаза смотрит. Он руку опустил, забрал, шо из сундука выбрал, и вышел.

Потом эти немцы дальше ушли воевать, а к нам на ночлег порой немецкие обозы заворачивали. Мы сначала боялись обозным открывать. Думали, баракон много пустых, пусть размещаются. Одеядло на окно вешали, чтобы не видно было, шо в хате люди есть. Вот один раз в окно нам сильно постучали. Батьки дома не было. Тимоша детей на руки схватил, бабушка возле окна застыла, а я зачем-то кочергу схватила. Дверь на крючок была закрыта. Шоб цэ я с той кочергой делала?

А немцы всё стучат и стучат и кричат за окном: «Гуп-гуп, рус капут!» Это значит, что окно разобьют и нас поубивают. Долго стучали. А потом где-то устроились. Уехали они рано, мы их и не видели. А бабушка с того дня болеть стала. Тихо так на печи лежала, да с Николкой, братиком моим старшим, в бреду разговаривала, всё ему на немцев жаловалась. И про галоши, и про свитер, и про пасеку...

Мы же тогда ничего про Колю не знали. Он в армии служил, в самоходной артиллерии. Последнее письмо с Западной Украины прислал перед войной. Это теперь уже добились через военкомат, и нам сообщили, шо он в декабре сорок первого умер в немецком плену на территории Польши. Двадцать один годок ему был. Так вот, оказывается, когда бабушка тут угасала, он там мучился. И бабушка с ним словно лицом к лицу разговаривала. Умерла она тихо. В саду барском её похоронили, где уже и другие люди лежали. Плохо без бабушки стало. И всё хозяйство домашнее на мои руки легло. Царство ей Небесное. Очень добрая бабушка была у меня. Евдокия.

ГРАНАТА

Когда немцы первый раз отступили, стала я в хате убирать, где фашисты квартировали. Смотрю, за сундуком что-то такое лежит, банка железная на деревянной ручке. От верха этой банки к низу верёвочка протянута, как суровая нитка, только потолще. Качнула я банку, внутри что-то колыхнулось — тупо так. Шо, думаю, с ней делать? Дай, думаю, в ведро мусорное выкину, а потом вынесу.

А в этот момент Тимоша зашёл, и как выхватит у меня эту штуку, и на улицу стремглав выскочил. Через минуту забежал и спрашивает: «Слышала?» Да, — отвечаю, — гром где-то прогремел. А он мне: «Сама ты гром! Это граната взорвалась, которую ты в руке держала».

МИНЫ

А ещё было такое. Мне огород садить надо, а тут — прямо на огороде — круги стальные лежат. Большие, как о-о-н тот половичок у тебя под ногами. Сантиметров по пятьдесят в ширину. Как попадётся мне такой круг, я в сторону откину, да и сажу, шо мне нужно — дыню там, або огурчики. А уже потом, когда наши пришли, солдаты увидели эти круги, машиной их в поле вывезли, и там, в степу, расстреляли. Это противотанковые мины оказались.

Да, огород нас только в войну и прокормил. Картошки садила много, очень много. И кукурузу садили для курей. Куры были. И семечки — масло бить. Огурцы, помидоры в бочках солили. Капусту шинковали обязательно. А яблоки когда сделаем отдельно, а когда не сделаем, а то в капусте мочили. Зерно на муку на каменной зернотёрке перетирала вручную. Корову немцы ещё в сорок первом году забрали. Наверно, потому она и убежала от них, как чувствовала. Нам только шкуру кинули, голову и копыта. А батя потом шкуру эту вычинять людям отнёс, которые знали, как сделать. За двенадцать километров ходил. Потом сапожник из этой шкуры батьке сапоги пошил, Тимоше ботинки, а мне — туфельки.

Да, работали много, чтобы выжить. Ведь ничего ниоткуда! Что запасёшь, тем и сыт будешь. Немцы овощи не сильно выгребали. Мясо любили.

ТИМОША

А Тимоше шестнадцать лет было. Он от угона в Германию уклонялся. Один раз дома был. Проходит мимо нас тетя Мотя, жена по-

лица, с пустым ведром, и на ходу говорит: «Тимоша, бери ведро и иди за мной к колодцу», — и сама пошла.

Тимоша быстренько вылил воду в ночвы и за ней. Возле колодца тетя Мотя ему и сказала, шо ночью за ним полицаи придут. Тимоша собрался и — на родину под Белгород. А это семьдесят километров, и всё в обход, чтобы на немцев не напороться. А когда там его заметили и стали у родни спрашивать, чий это хлоп, опять домой вернулся. Так почему-то говорили — хлоп, а не хлопец.

Тимошу мы долго скрывали. Он приходил домой поздно вечером и рано утром по темноте из дома уходил. Где он высиживался, хто зна? Если Тимоша вечером уже был дома и кто-то к нам приходил, он сразу на печку прятался.

В барский дом сын помещика вернулся Фёдор с женой Мотей и с двумя детьми. Он главой полицаев был, поэтому Мотя Тимошу и предупредила. Она добрая была.

А в Гавриловке за степью тётя Настя жила. Полдома у неё магазин занимал. Она там и водкой торговала, и конфетами, а в другой половине ютилась. Тимоша у неё часто бывал, я так и до сих пор не знаю, зачем. Она предупреждала братика, чтобы соседи его не видели, когда он дома появляется. Её потом немцы за связь с партизанами повесили и три дня не давали хоронить, чтобы людям страшно было.

ЧЕХОСЛОВАКИ

А тут у нас чехословаки на квартиру стали. А они такие добрые: то конфет дадут, то ещё чего... Один раз два полицаия приехали за Тимошей. Верхом они были на конях, а командир чехословаков вышел и напустился на них: «Что это вы пришли в расположение воинской части? Кто вас сюда послал? Убирайтесь, иначе я прикажу вас схватить и расстрелять».

Они ни с чем и уехали.

Чехословаки петь любили. То вместе, то порознь, по настроению. В их песнях есть и русские слова, и не наши. Одну песню я запомнила. До сих пор она в памяти держится:

Заходьть сонэчко за руську граньцю, за широку долину.
Достав сэм я вчера, вчера пред вэчеру
прыжалосну новыну.
Новыну сэм достав листочек малички
от мэй старый мамычки...

Это значит «письмо от старой мамочки получил». Там ещё дальше про милую поётся. Ещё чехословаки ох как любили друг над дру-

гом подшутить! Но не злобно, а так, по-дружески. Говорят Тимоше: «Пойди к тому-то и то-то скажи!» Он пойдёт и скажет, как просят. Тот, как услышит, как вскипятится и к этим бежит: «Хлоп не может этих слов знать, это вы его научили!»

А им лишь бы посмеяться. Спали чехословаки на полу, как и наши, на соломе. И форма у них была не как у немцев, а иначе.

А тут чехословаков на Курскую дугу перебрасывали. Они и говорят Тимоше: «С нами поехали. До родни своей под Белгородом доберёшься. Мы тебя в обиду не дадим».

Он с ними и ушёл. Слух потом пронёсся, что чехословаки на Курской дуге против немцев повернули. А Тимоша уже оттуда на флот попал. Под Севастополем служил сигнальщиком на катере. Их катер на mine подорвался. Его одного подобрали живым. На сигнальном мостике стоял, потому и не утонул сразу. Был весь израненный. После войны годика два пожил и умер в госпитале от ран. Врач говорил, шо лёгкие у него осколками мелкими были наполнены. Так в двадцать один год Тимоши не стало. Он на паспорте написал: «Я уже последний день живу. Живите все мирно. Прощайте все. Може, кого чем обидел...» А рука, видно, слабела, и буквы становились всё крупнее и крупнее и уходили наискосок...

ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ НЕМЕЦ

Немецкий обоз гусей вёз, живых, в клетках. Немец, старый уже, как батько, у нас остановился заночевать. Этот пожилой, ну очень пожилой немец, дал мне гуся на ужин сварить и с отцом стал разговаривать. По-русски хорошо говорил! Был сорок первый год, а отец ему в лоб: «А Гитлер уже проиграл войну!»

Тот как возмутился: «Как это проиграл?! Посмотри, где мы уже находимся!»

«Проиграл! — повторял батько. — Проиграл. Потому что народ за Гитлером не пойдёт. Почему он дал волю солдатам убивать мирных людей? Идёт человек из города за продуктами, саночки тащит. А солдаты, что мимо на машине проезжают, стрельнут — и лежит человек ничком на обочине. Дома его голодные ждут... Нет, так с людьми нельзя. В партизаны народ пойдёт и немцев будет бить. Проиграл Гитлер».

А немец этот пожилой отцу сказал тогда: «Я вас должен сейчас расстрелять за такие слова. Никогда никому их больше не говорите, убьют вас».

Видишь, хороший был немец, очень хороший. Дай Бог ему здоровья. Правда, его уже на свете, поди, нет. Я-то сама старая.

БОИ

Когда наши первый раз начали наступать, то они шли по снежному полю в шинелях. Много их тогда погибло. Так по полю и чернели холмики. Потом их у нас в коммуне в саду господском похоронили. Сто семьдесят человек и две медсестры. Отдельно девчат похоронили, возле братской могилы.

А за дорогой ещё двести двадцать воинов похоронили. Возле дороги тогда я бойца нашего увидела. И сердце его сверху на груди лежало. Чуть больше кулака такое. Человек лежит, и сердце его на груди...

Наши солдаты у нас на постое стояли. Мы картошку варили чугунами. И опять варили, и опять варили... Немцы тогда на тридцать километров отступили. И слышала я, как по телефону связной кричал: «Огурцы давай! Огурцы!» Огурцы, это уже и дураку понятно, шо это значит снаряды. Но снарядов не было, и наши скоро отступили, и мы какое-то время снова были ничейные: и не ихние, и не наши.

А по дороге, шо от нашего сада идёт к Люботину, немцы своих убитых подбирали на мотоциклах. Они своих не гуртом хоронили, а отдельно каждого. И кресты такие у них были небольшие.

А от коммуны теперь уже ничего не осталось. Поле там распали. А по нынешним временам оно, наверное, и бурьяном заросло.

КОТЯТА

После войны я уже у тётки Лены Кохановской на квартире жила. Так она мне рассказывала, как она немцам мстила. Дом у неё большой был, крепкий. Вот генерал или полковник к ней на постой и стал. Тётю Лену заставил готовить ему, стол накрывать и посуду мыть. До революции Кохановские зажиточно жили, знали обхождение. Вот тётя Лена грязную посуду в таз соберёт, на кухню вынесет, дверь закроет, а в таз котят прямо на тарелки посадит. Котята тарелки вылизут дочиста, а тётя Лена их только чуть тряпочкой сверху протрёт, и всё. Мыть не мыла. В этой посуде так еду и подавала. «А то, — говорит, — ходит, бестыжий, и как будто меня в комнате нет, воздух портит».

ЭТО СТРАШНО!

А тут снова фронт близко подошёл. Уже грохотало на Курской дуге. Грохочет так страшно! Хотя и далеко, а всё слышно — и так страшно! Немцы осветительные бомбы в небе повесят, и они висят. Усё видно, как днём, даже лучше. Бомбы падают, воют, рвутся. Падаешь ничком, земля от взрывов вздрагивает, и завидуешь мёртвым, шо они ничего этого уже не видят и не слышат. Так было страшно, так страшно!

Как бомбить коммуны начали, так мы в подвал ушли походной, со ступеньками. Дверей в подвал уже не было. По коммуне били с двух сторон — и с нашей, и с немецкой. Они думали, шо тут никого нет, а мы-то есть! Ох, это страшно.

По воду идти, ведра обматывали, чтобы не звякали, и — попластунски. Не идём на полный рост. За водой по двое ходили. Если убьют кого, хоть другой скажет. Да нас только с Лидой за водой и посылали. Она была постарше.

Криница одна была. Ой, ты шо! Далеко, унизу. Ползём. А над головой красные блёстки летят. А я руку протягиваю — поймать это красивое. А Лида меня по рукам! И шепчет, шо это трассирующие пули. Тихо так шепчет, чтоб никто не услышал. Пули совсем невысоко над головой пролетали.

А воду тащили так: ведро впереди себя продвигали. Через все огороды вверх километра полтора. Тяжело очень и страшно. Другой раз воду и с пулями притаскивали.

ГОСТИ

Разведчики прибежали много раз — и немцы, и наши. Немцы прошмыгивали между нами с автоматами: «Рус-рус-рус!» И уходили. А наши спрашивали: «Были фашисты?» Мы им и рассказывали, шо да как. А один раз двое здоровых немцев в чёрной форме забежали. И нашивки такие — СС. Один был в руку ранен. Второй ему рукав обрезал и руку перевязал. Ну, думаю, сейчас выйдут — гранату бросят — и всё. Не, не бросили.

Я недалеко от входа с детьми сидела. Нам в глубине уже места не осталось. Подушками обложилась, Ваню с Раей обняла, а сама лицо в подушку прятала. Шо убьют, не боялась, а вот если лицо изуродуется — боялась. Во дурочка, да?

Тут днём наши подошли к подвалу. Двое. У входа остановились. Люди стали им говорить, шо немцы близко, прямой наводкой сюда из Люботина бьют. Прячьтесь, чтобы уцелеть. А в это время как рюхнуло! Так один наш боец без головы в подвал и упал...

А тот ничего, целёхонек. Сбежал он к нему, взял из кармана документы, а нам сказал, чтобы мы ночью вынесли тело, и ушёл. Так до ночи наш обезглавленный солдатик на ступеньках и лежал недалеко от меня.

А ты спрашиваешь, чего я всю жизнь во сне кричу, да от резких звуков вздрагиваю. Такое, доченька, бесследно не проходит. Я бы и рада забыть, но ничего не получается. Всё помню до мелочей, словно вчера происходило. Не дай Бог ещё раз такое пережить! Лишь бы войны не было.

БУХАНКА ХЛЕБА

Нас в подвале три семьи было. Да в яме с приставной лестницей ещё четыре. У тёти Марии и тёти Фени детей много! Они им решили лепёшек ночью испечь: дома-то разбитые кругом догорали. Замесили тесто — и на металлический лист. Вылезли из ямы, к огню подошли, печь стали лепешки. И только начали их переворачивать, тут их-то снарядом и накрыло. Тётя Феня без ступней, на одних культяшках в подвал спустилась. По приставной лестнице! Живот весь разворочен, руками кишки держит. «А Мария, — сказала, — только ножиком махнула». Два дня тётя Феня промучалась и умерла.

А «катюши» стреляли!!! Ой, не дай Бог! Сразу летит восемнадцать снарядов! Машина их выпустит — и в лес. Она никогда не стоит на месте.

Не то шо ночью, а днём видно, как снаряды огнём летят! Огнём! А у немцев — «ванюша». Только двенадцать снарядов огня летит.

И вот однажды всё стихло. Перестали стрелять с двух сторон. Мы посидели в полной тишине час-другой. А потом и солнышко вышло. Звуков никаких. И вдруг слышим, а по дороге танки наши едут! И стали мы потихоньку из подвалов выползать. Мы все повылазили, повылазили — из этого подвала, и из того... Радость-то какая! Танки наши по дороге едут! И вдруг колонна прямо напротив нас останавливается. И из переднего танка офицер спускается и к нам идёт. А в руках у него — буханка хлеба. И он говорит нам:

— А мы думали, что здесь никого нет, а здесь люди! На нейтральной полосе!!!

Плакали все и радовались. Трогательно было. Очень трогательно. Эту буханку хлеба я на всю жизнь запомнила.

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Семья барина и он сам тоже в подвале сидели. Он, пока по-лицаем был, никого не обижал. К нему относились по-хорошему. С Лидой, его племянницей, мы по воду ходили.

Она попросила меня сходить с ней на Водяное, где жила её бабушка. Мы пошли сразу же, как только бои закончились. Немцы далеко умчались! А по дороге колонны наших машин и танков едут, и едут, и едут... А мы по обочине идём. Так и дошли. Радостно было, словно уже война кончилась.

После войны Лида в Харькове мороженым торговала. Один раз виделись. А меня в ремесленное училище по повестке забрали. Нас вывозили разбирать кирпичи на том месте, где был ХЭМЗ — Харьковский электро-механический завод. До войны завод был, а потом пусто, пусто! Одни кирпичи. Ходили мы строем и пели «Вставай, страна огромная!» Ботинки на ногах верёвками привязаны, чтобы подмётки совсем не отвалились. А бабы вдоль улиц стоят и плачут...

ПАСХА

А один раз на Пасху в церковь ходили! Это, значит, так. Вера в нашем коридоре, Лузгарёва, в Пересячное замуж вышла. И она каже: «Там цэрква есть».

Война уже пошла, пошла, пошла... Далеко уже воюют.

Был у меня платок такой, знаешь... Китыци такие, китыци длинные. Цвет нежный — и не белый, и не жёлтый. И я той... Любила его. Вот собрались мы с Верой идти. В узелок и паски, и яйца крашенные завязали. И пошли. Это с коммуны километров десять, а то и больше.

Это я первый раз в церкви была. На исповеди батюшке говорю: «Я безгрешная». А он мне: «Нет, деточка, мы все грешные». Но исповедь уже потом была. А сначала стать было негде — масса людей! И внутри, и снаружи! Я стою и чувствую, шо-то тёплое у меня над верхней губой. А это у меня кровь из носа так и потекла. Платок с китыцями залило. Меня сразу на улицу вывели, на свежий воздух. Платочек носовой с собой был. Схватила так платочком, посидела. Перестало. И людей поменьше, порасходились.

После исповеди Причастие было. Я тогда первый раз в жизни сама причащалась. А после службы батюшка всех обошёл и, у кого шо было, освятил. В душе моей какое-то такое было возношение, какое никогда его не забудешь. Первый же раз была в церкви! А на обратной дороге видела я, как солнце всходило. И так оно играло, так

играло! Искрилось и переливалось. И люди говорили, что на Пасху всегда солнышко играет.

Это в сорок четвёртом году было. И я тогда подумала: «Если солнышко играет, значит скоро уже победа. Не могут наши не победить, если на Пасху вместе с нами солнце радуется!»

А платок свой любимый я отстирала. Потом моя тётя его в голодовку на продукты мне выменяла в Западной Украине. Туда многие из Харькова за продуктами ездили. У нас очень голодно было.

Хто бы мог подумать, шо и победу нашу выменяют, как платок, на какие-то ножки Буша? А ведь так получилось! Смотри, шо с нами сделали! И войны вроде не было. Но, видно, идёт война! Только теперь непонятная она какая-то...

А молодёжь, так та вообще об этом и задумываться не хочет. Шо это с людьми стало?

Тосно—Севастополь

